

Быль и Убыль. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Быль и Убыль. Владимир Владимирович Набоков

[1]

1

В первые цветоносные дни выздоровления после тяжелой болезни (с которой, как полагали все, и прежде всего сам больной, девяностолетнему организму уже не справиться), мои добрые друзья Норман и Нура Стон уговаривали меня еще повременить с возвращением к научной работе и заняться на досуге чем-нибудь безвредным, вроде звездословиц или солитэра.

Первое исключено совершенно, потому что охотиться за именем азиатского города или названием испанского романа в чащобе перетасованных слогов на последней странице вечернего тома новостей (занятие, которому моя младшая правнучка предается с рвением необычайным) по мне гораздо утомительнее манипуляций с животными тканями. О солитэре же можно подумать, особенно если расположен к его духовной разновидности; разве раскладывание собственных воспоминаний не того же разряда игра, где в праздной ретроспективе раздаешь сам себе события и переживания?

Передают, будто Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых не довольно воображения, чтобы сочинять романы, и не хватает памяти, чтобы писать правду. Мне придется плавать в тех же сумерках самовыражения. Подобно другим старикам до меня, я обнаружил, что все по времени близкое неприятно разплывчато, между тем как в конце туннеля видишь и свет, и цвет. Я могу разглядеть подробности каждого месяца в 1944-м и 1945-м году, но когда выбираю наугад 1997-й или 2012-й, времена года безнадежно перемешиваются. Никак не могу вспомнить имени почтенного ученого, разбранившего мою недавнюю статью, – впрочем, забыл я и те наименования, которыми его наградили мои не менее почтенные сторонники. Не могу сказать с уверенностью, в каком году Эмбриологическая секция Рейкьявикского Общества Любителей Природы выбрала меня своим почетным членом, или когда именно Американская Академия наук присудила мне самую свою знаменитую премию. (Помню, однако, какое острое удовольствие доставили мне оба эти отличия.) Так человек, глядящий в огромный телескоп, не видит перистых облачков первоначальной осени над своим зачарованным садом, но зато видит (как дважды случилось наблюдать моему коллеге, ныне, увы, покойному профессору Александру Иванченке) роение гесперозои в сыровой долине Венеры.

Конечно, «безчисленные смутные картинки», завещанные нам тусклыми, плоскими, до странного печальными фотографиями прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, которое век этот производит на тех, кто его не помнит; и однако люди, населявшие мир в мои детские годы, кажутся нынешнему поколению более отдаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они все еще по пояс увязали в напускной стыдливости и предрасудках. Они цеплялись за традиции как лоза за мертвое дерево. Они ели за большими столами, вокруг которых располагались в принужденных сидячих позах на твердых деревянных стульях. Одежда состояла из нескольких компонентов, причем каждый заключал в себе измельчавшие и бесполезные останки какой-нибудь устаревшей моды (в продолжение утреннего ритуала облачения городскому жителю приходилось всунуть едва ли не три десятка пуговиц в такое же количество петель, а потом еще завязать три узла и проверить содержимое пятнадцати карманов).

Они в письмах обращались к совершенно незнакомым людям с формулой, смысл которой – в ту силу, в какую слова вообще имеют смысл – может быть передан как «милосердный господин», и предваряли теоретически бессмертную подпись невнятицей, выразившей идиотскую преданность человеку, самое существование которого было для пишущего решительно безразлично. Они обладали атавистической склонностью оделять общество качествами и правами, в которых они отказывали отдельному человеку. Они увлекались экономикой с почти той же страстью, с какой их деды увлекались богословствованием. Они были поверхностны, беспечны, и близоруки. Чаще других поколений они не замечали выдающихся людей, оставив нам честь открытия их классиков (тот же Ричард Синатра был при жизни безыменным «лесничим», предававшимся раздумьям под Теллуридской сосной или читавшим свои изумительные стихи белкам Сан-Изабельского леса, в то время как все знали другого Синатру, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения).

Быль и Убыль. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Элементарные аллобиотические явления приводили их так называемых спиритов к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл столь же глупо и невежественно пожимать своими широкими плечами. Наши обозначения времени показались бы им «телефонными» номерами. Они то так, то сяк забавлялись электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое – и не мудрено, что случайное открытие его настоящей природы явилось чудовищной неожиданностью (я в то время был уже взрослый человек и отлично помню, как старый профессор Эндрю плакал навзрыд на дворе университета, окруженный ошеломленной толпой).

Но несмотря на все смешные обычаи и осложнения, которыми был опутан мир моей молодости, это был доблестный и крепкий мирок, переносивший напасти с сухим юмором и способный невозмутимо отправиться на далекое поле брани, чтобы раздавить варварскую пошлость Гитлера или Алампилло. И если бы я дал себе волю, то взволнованная память нашла бы в минувшем много яркого, и доброго, и романтического, и прекрасного – и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, на что еще способен полный сил старик, если засучит рукава. Но будет об этом. История не моя область, так что лучше мне обратиться к личным воспоминаниям, не то мне могут заметить, как говорит г-ну Саскачеванову обаятельнейшая героиня современного романа (что подтверждает и моя правнучка, которая читает больше моего), «всяк сверчок знай свой шесток» – и не вторгайся в законные владения разных там «слепней и стрекузничиков».

2

Я родился в Париже. Мать моя умерла, когда я был еще младенцем, и оттого она вспоминается мне лишь неясным пятном восхитительного лакримозного тепла по ту сторону портретной памяти. Отец был учитель музыки и сам сочинял (до сих пор берегу старинную программку, где его имя стоит рядом с именем великого русского музыканта); он дал мне университетское образование и умер от какого-то неведомого заболевания крови во время Южно-Американской войны.

Мне шел седьмой год, когда мы с ним, да еще бабушка, добрее которой не доставалось ни одному ребенку, уехали из Европы, где вырождающийся народ подвергал неопишущим гонениям расу, которой я принадлежал. Никогда не видывал я апельсина больше того, что мне дала одна женщина в Португалии. Две пушечки на корме парохода были нацелены на зловеще распаханый кильватер. С важным видом кувыркалась ватага дельфинов. Бабушка читала мне рассказ о русалке, которая обрела ноги. Любопытный ветерок тоже участвовал в чтении и шумно переворачивал страницы, желая узнать, что же будет дальше. Вот собственно и все, что я запомнил из этого плаванья.

По прибытии в Нью-Йорк путешественников в пространстве точно так же поражали старомодные «небоскребы», как удивили бы они странствующих во времени; название неточное, потому что их отношения с небом, особенно на неземном склоне оранжереино-го дня, не только не подразумевали никакого скреба и скрежета, но были несказанно изящны и безмятежны: моим детским глазам, глядевшим на широкий простор парка, украшавшего в те годы центр города, они представлялись далекими, сиреневыми и до странного водянистыми, когда их первые осторожные огни мешались с красками заката и с какою-то мечтательной прямоотой обнаруживали пульсирующие недра своего полупрозрачного корпуса.

Негрятя тихо сидели на искусственных валунах. На стволах деревьев были прибиты дощечки с их двойными латинскими именами, а шоферы приземистых, пестрых, жукообразных таксомоторов (они таксономически соединяются у меня в памяти с теми, тоже пестрыми, автоматами, на музыкальный запор которых вставленная монетка действовала как безотказное слабительное) прикрепляли к спине свои засаленные фотографические портреты; ведь мы жили в эпоху Опознавания и Классификации, понимали личность человека или вещи только если она имела имя или прозвание, и не верили в существование чего-бы то ни было безымянного.

В недавней и все еще ходкой пьеске о причудливой Америке Стремительных Сороковых годов, особенным ореолом окружена роль Продавца Сельтерской, но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроничны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси (через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на сцене) с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала: обильную пену, образывавшуюся над затонувшим комом мороженых синтетических сливок, и

Быль и Убыль. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
коричневую слякоть «молочно-шоколадного» сиропа, которым поливали его макушку. Латунь и стекло поверхностей, стерильные отражения электрических ламп, стрекот и поблескивание пропеллера, посаженного в клетку, плакат из серии «Мировая Война», на котором изображался Дядюшка Сэм[2] со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире, с гипертрофированной нижней губой (эта выпуклость губ, этот надутый ротик-капкан, были преходящей модой женского обаяния между 1939-м и 1950-м годом), и незабываемая тональность разнородных автомобильных звуков, доносящихся с улицы – эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему-то связывали понятие «молочный бар» с миром, где люди терзали металл, и он им за это мстил.

Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; а потом опять переехали. Мы, казалось, переезжали непрерывно – и одни дома были невзрачнее других; но каким бы маленьким ни был город, я знал наверняка, что найду в нем место, где латали велосипедные шины, место, где продавалось мороженое, и место, где показывали кинематографические фильмы.

Эхо, кажется, добывали, рыская по горным стремнинам; затем его подвергали обработке особенным составом на меду и резине, покуда его сгущенный говор не совпадал на лунно-матовом экране в бархатно-темной зале с движениями губ на череде последовательных фотографий. Ударом кулака человек сбивает своего ближнего с ног, и тот падает на башню, составленную из ящиков. Немыслимо гладкокожая девушка поднимает в нитку выщипанную бровь. Дверь захлопывается с тем плохо подогнанным стуком, какой доносится с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.

3

Я так стар, что еще помню пассажирские поезда; в младенчестве я боготворил их, в отрочестве же я обратился к улучшенным изданиям скорости. Они и теперь еще, бывает, тяжело проходят через мои сны, со своими утомленными окнами и приглашенными огнями. Их колер мог бы сойти за цвет спелого разстояния, за цвет сплава вереницы покоренных верст, когда б его сливовый отлив не поддался действию угольной пыли и не сделался под-стать стенам цехов и трущоб, которые предшествовали городу с тою же неизбежностью с какой грамматическое правило и клякса предшествуют приобретению общепринятого знания. Карликовые бумажные колпачки, запас которых имелся в конце вагона, податливо-вяло принимали в себя (передавая пальцам насквозь просвечивающий холод) тонкую, как в гроте, струю из послушного фонтанчика, который, если надавить, отводил голову назад.

Старцы, напоминавшие убеленных паромщиков из еще более древних сказок, то и дело нараспев выкликали свои «следущестанции» и проверяли билеты у пассажиров, между которыми, если ехать достаточно долго, непременно попадалось много раскинувшихся, до смерти уставших солдат, и кто-нибудь из них, живой и пьяный, без умолку и витиевато болтал и только бледностью выдавал свои близкие отношения со смертью. Он всегда появлялся в одиночку, но всегда там был, уродец, глиняный молодец, в разгар периода, бойко именуемого Гамильтоновым в иных новейших хрестоматиях по истории – в честь посредственного ученого, в угоду тупицам придумавшего этот период.

Мой отец, человек блестящего, но непрактичного ума, отчего-то никак не мог приноровиться к академическим порядкам настолько, чтобы удержаться надолго на одном каком-нибудь месте. Я мысленно вижу их все, но один университетский городок представляется мне особенно живо: нет нужды называть его, довольно сказать лишь, что в разстоянии трех палисадников от нас, в густо-зеленом переулке, стоял дом, сделавшийся теперь национальной Меккой. Помню затопленные солнцем садовые кресла под яблоней, и ярко-медного сеттера, и толстого веснушчатого мальчика с книгой на коленях, и очень кстати подвернувшееся яблоко, которое я подобрал в тени у плетня.

Сомневаюсь, чтобы туристы, посещающие теперь место рождения этого величайшего человека своего времени и глазающие на мебель соответствующей эпохи, смущенно сгрудившуюся за плюшевыми канатами бережно лелеемого безсмертия, могли ощутить нечто похожее на это гордое осознание прошлого, которым я обязан случайному происшествию. Ибо что бы ни случилось и сколько бы библиографических карточек ни заполнили названиями моих печатных трудов библиотекари, я буду известен потомству как человек однажды запустивший яблоком в Баррета.

Быль и Убыль. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Тем, кто родился после потрясающих открытий семидесятых годов и, значит, не видел ничего из разряда летательных снарядов, кроме разве воздушного змея или игрушечных надувных шаров (все еще, кажется, разрешенных в некоторых штатах, несмотря на недавние статьи д-ра де Саттона на эту тему), нелегко представить себе аэропланы, особенно оттого, что старые фотографические изображения этих чудесных машин в полете лишены жизни, которую только искусство и могло бы им сохранить – но как это ни странно, ни один великий художник ни разу не сделал их своим исключительным предметом, не впрыснул в них своего гения, чтобы этим уберечь их облик от распада.

Вероятно, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, которые выходят за пределы занимающей меня отрасли науки, и возможно, что моя личность, личность человека очень старого, должна казаться раздвоенной, как маленькие европейские города, одна половина которых во Франции, а другая в России. Я это сознаю и потому продвигаюсь с осторожностью. Я совсем не намерен возбуждать тоску и нездоровое сожаление по поводу летательных аппаратов, но в то же время не могу подавить романтического отголоска, неотделимого от симфонической совокупности прошлого в моем ощущении.

В те далекие дни, когда любая точка на планете была не более чем в шестидесяти часах полета с местного аэродрома, мальчик знал аэропланы от обтекателя винта до рулевого триммера, и мог различать их разновидности не только по оконечности крыла или по выступающему колпаку кабины, но даже по рисунку выхлопного пламени в темноте, соперничая в распознавании типов с классификаторами после-Линнеевской эры, этими одержимыми разведчиками-натуралистами. Чертеж разреза крыла и конструкции фюзеляжа обдавал его творческим восторгом, и модели, которые он сооружал из бальзы, сосны и конторских скрепок, доставляли такое все нараставшее наслаждение процессом работы, что ее итог казался в сравнении чуть ли не пресным, как будто дух вещи отлетал как только она обретала законченную форму.

Научное достижение, художественное постижение – пары эти держатся врозь, но уж если они встречаются, ничего нет важнее на свете. И поэтому я удаляюсь на цыпочках, покидая свое детство в самую характерную для него минуту, в самой пластичной его позе: привлеченный низким гуденьем, дрожащим и набирающим силу над головой, стою как вкопанный, позабыв о присмирившем велосипеде между ногами (одна на педали, другая носком касается покрытой асфальтом земли), глазами, подбородком и ребрами стремясь ввысь, к голому небу, где военный аэроплан идет с неземною скоростью, которую скрадывает только огромность среды его обитания, между тем как фронтальный вид сменяется тыльным и крылья и рокот растворяются в дали. Восхитительные чудовища, огромные летательные машины, они прошли, исчезли как стая лебедей, с мощным многокрылым свистом пронесшаяся как-то весенней ночью над озером Рыцаря в Мэйне, из неведомого в неведомое: лебеди неизвестного науке вида, никогда не виданные ни прежде, ни после – и потом на небе не осталось ничего кроме одинокой звезды, подобно астерису отсылавшей к ненаходимому примечанию.

Бостон, 1945-й г.

Примечания

1 Буквальный перевод названия (Time and Ebb), «Время и отлив», не передал бы подразумеваемой игры, заключающейся в ожидании привычного «Tide and Ebb», «прилив и отлив» – как если бы кто по-русски сказал «пень и ночь». В рукописи, хранящейся в архиве Эдмунда Вильсона, рассказ называется «Time in Ebb».

2 «Дядюшка Сэм» – плакатный пожилой господин в цилиндре, имя которого составлено из первых букв названия страны: U. [ncle] S. Am. (=United States of America; это как бы антропоморфный образ Америки).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

Был и Убыль. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!